

5

Однажды поутру, дело было в воскресенье, потому что мы еще нежились на своих железных койках под суконными общежитскими одеялами, в соседней комнате раздался странный грохот. И громкое пенье с надрывом:

— О дайте, дайте мне свободу!
Я свой позор сумею искупить.
Снесу я честь свою и славу,
Я Русь от недруга спасу!

Вовка Потников поставил диагноз:

— Бородин, «Князь Игорь»!

Снова за стеной что-то непонятное грохнуло, хоть ведь не было там никаких тяжелых вещей, наотмашь хлопнула дверь, и кто-то благим матом заорал в коридоре.

В чем были — в трусах и майках — мы выскочили наружу, но крикуна не застали — он скатывался по лестнице, тоже только в исподнем, и кричал непрерывно:

— Скорую! Скорую!

Когда мы целой толпой — шесть-то человек — втиснулись к соседям, там, похоже, настало короткое равноденствие. Но пейзаж выглядел непривычно: двое

наших соседей стояли на койках, двое жались к стенам, еще один сидел, опустив голову, а кровать посередине была перевернута с ног на голову.

Тот, кто сидел, опустив голову, встряхнулся, и мы увидели, что это Венька Северов. Был такой у нас пацан из Омска родом. Он всегда держался в сторонке, никогда никуда не лез, не болтал, только смеялся случайно услышанным остротам, которыми полна студенческая житуха, но сам острить не решался. Ходил всегда с виноватой отчего-то улыбкой, обращенной ко всем и каждому. А тут я не узнал его. Да и все мы были поражены. Лицо будто заледенело, и взгляд устремлялся мимо нас и даже сквозь стены на что-то пугающее его. Тогда слово «мистика» в обороте отсутствовало, но было легко представить, что Венька видит иное, нежели мы, и это иное его страшит, но он готов от него обороняться.

Совсем неожиданно, неподходяще, он запел жалостным голосом, почему-то обращаясь к вбежавшим:

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья,
Все прошлое я вновь переживаю
Один в тиши ночной...

Голоса у него не было, он скорее декламировал, а не пел, да и слова как-то отрывал друг от друга, рас-

ставлял между ними восклицательные знаки. И весь его речитатив звучал беспомощно, безнадежно.

Без всякого перехода от жалкой интонации Венька вдруг взрычал, вскочил на ноги, ухватился за кровать, уже перевернутую, легко, даже играючи, вскинул ее ввысь и снова с грохотом обрушил на пол. Мы прижались — кто к стене, кто к шкафу, а кто-то выпрыгнул в коридор. Лицо Веньки побледнело, даже слегка погубело, а по краям губ выступила пена.

— Веня! — уговаривал его комсорг Минибай, робко пытаясь приблизиться. — Что с тобой! Успокойся! Не волнуйся! Сейчас все пройдет!

Уговаривающий говорил искренне, трогал, хоть и опасно, Веньку за плечо, за майку, и стоял прямо перед ним на площадке, возникшей на месте кровати.

И тут разыгралась еще одна, не к месту смешная сцена. В коридоре послышался топот, дверь распахнулась, и в нее колобком вкатился доктор Айболит! Прямо из книжки Чуковского! Невысокий, плотненький, пожилой, в белом халате и шапочке — правда, без красного креста на ней, но розовый и с пушистыми белыми усами, торчащими в стороны.

Он слишком быстро огляделся, и в этой мизансцене, замершей почти по «Ревизору», неправильно обнаружил нарушителя спокойствия. Им он признал Минибая. Тот же был, ну конечно, в трусах, во-вторых, уговаривая Веньку, приблизился к нему и стоял на пустой части комнаты, где лежала кинутая на попу кровать. В-третьих, он и так-то всегда тарачил нерусские глаза в мгновения беспокойства, а в тот момент стоял с глазами просто выпученными. Вот Айболит и двинулся к нему, спросив сначала, как зовут больного.

— Веня, Веня, — приговаривал доктор, приближаясь к Минибаю.

— Да это не я, — филологически не очень удачно отмахнулся тот.

— Не ты, не ты! — уговаривал доктор и даже взял его за руку.

— Я не Веня, доктор, — на сей раз отчетливо проговорил Минибай, и мы дружно подтвердили ошибку Айболита. Он повернулся к Веньке, который опять сидел на своей кровати.

— Веня, Веня! — будто готовясь посыпать зернышек этому птенцу, позвал его Айболит.

И тут Венька захохотал. И тут Венька вскочил. Издесь Венька схватил обеими руками Айболита за его пре-красные и сказочные усы своими немытыми руками. Доктор закричал отчего-то тоненьким голоском.

Но старичок Айболит явился, конечно же, не один. За спиной у него топтались два гориллообразных бугая с длинными, кажется, ниже колен, ручищами. Они, не издав ни звука, кинулись на защиту доктора, но ото-

рвать руки Веньки от серебристых усов было не так-то элементарно. А князь Игорь опять запел, выкрикивая слова:

О дайте! Дайте! Мне свободу!
Я свой! Позор! Сумею! Искупить!

Мы увидели, как одна горилла укусила Веньку за руку и только так спасла один докторов ус. Второй амбал выкручивал другую руку Веньки, а тот хохотал, закатывая глаза под лоб и держал доктора железной хваткой, докрикивал свою арию:

— Я Русь! От недругов! Спасу!

Наконец горилла пхнула Веньку в живот коленом, тот сложился вдвое и кулак все-таки разжал. Мы оттащили доктора в угол.

Однако Айболит был опытный врачеватель. Какими-то отрывистыми фразами он подал приказы, в результате которых с трудом и, увы, с нашей многорукой помощью амбалы натянули на Веньку хламиду с длинными рукавами, переходящими, оказалось, в ремни, обернули этими ремнями его тело в несколько оборотов, связав таким способом и руки, и ноги. Нам же — как были, в трусах, — пришлось скатиться с четвертого этажа, едва удерживая беснующееся тело, и загрузить его в небольшой медицинский автобус, кажется, еще довоенного образца. Венька дрыгался, орал бессвязно, даже бессловно, — ни одной фразы я не уловил больше в этом вопле, — пока доктор не открыл блестящую железную коробочку и не вкатил Веньку укол прямо куда-то за ухо. Тот стих. Нет, он не уснул, он глядел на нас расширенными зрачками, пена текла с подбородка, но он замолчал, заледенел.

Доктор потребовал сопровождения больного, сказал, что ему нужен хотя бы его паспорт, да и вообще не грех проводить человека не куда-нибудь, а на «Белую дачу». Это название изредка витало вокруг нас и означало сумасшедший дом, но, употребленное доктором, ошарашило всех.

— Доктор! — спросил я. — Он сошел с ума?

— Ну не совсем! — невесело ответил Айболит, поглаживая усы, которым, конечно же, досталось. — Приступ шизофрении, судя по всему. Специалисты скажут. Поторопитесь!

У Веньки в городе никого не было, кроме нас, однокурсников, а из них, получалось, отвечал за все комсорг, кто еще? Минибай. Ну, по дружбе и я звывался участвовать в этой малооптимистичной поездке. В автобусе отчего-то оказался и молчаливый Генка Шидрин.

Спеленутый Веня лежал неподвижно, как бревно, автобусик трясло на колдобинах, потом дорога стала ровнее, и, глянув в окно, мы увидели лес — значит, оказались за городом.

В больнице, состоявшей из множества одноэтажных барачков, окруженных необычно высоким забором, ничего особенно не произошло. Венку переложили на носилки и унесли, нас завели в приемный покой и поначалу приняли за родственников. Однако когда выяснили, что мы товарищи по общежитию, смягчились. Доктор Айболит сразу уехал, а нас расспрашивали две очень ласковые пожилые женщины, похожие на наших матушек, и, быстро записав Венкины паспортные данные, телефон общежития и адрес, принялись выпрашивать подробности.

Вот как можно укорить людей! Начни подробно и непременно по-доброму выпрашивать, что ты знаешь о другом человеке, даже однокурснике, даже из соседней комнаты в общаге — и все! Ну, студент, ну улыбался какой-то искательной улыбкой. Стеснялся сесть за один стол на обеде у тети Дуся и неизвестно даже, пользовался ли ее кредитом... И о родителях его ничего не ясно, и как он практику прошел, куда ездил... А чем увлекался? Что читал?

Мы с Минибаем сидели, опустив голову, и в приемном покое уже начинала висеть неловкая тишина, как вдруг горло прочистил сдержанный Генка Шидрин.

— Мы вчера с ним, — будто грохот раздался, — были в театре.

И я, и Минибай воззрились на Генку, еще ничего не понимая.

— Что смотрели? — ласково подтолкнула одна из женщин.

— «Князя Игоря»! — кивнул он и вдруг сообщил невероятное. — Но мы не смотрели. Мы играли...

У всех глаза на лоб полезли, даже у этих милых женщин в белых халатах.

— Понимаете, — покраснел Генка, — в каждом спектакле есть миманс. Артисты тут не требуются. Просто разных людей одевают в костюмы, и они стоят, толпой, например! Кричат, когда скажут! Ходят куда укажут. Всякие студенты, домохозяйки! А после спектакля этой толпе выдают деньги. Вот мы вчера с Веней были в войске князя Игоря. Получили по четвертной.

Мы слушали его, обалдевая. Ведь это же все из рекомендаций Бова!

— Может, он так перевоплотился, что никак обратно выбраться не может? — спросил я не то Генку, не то врачей.

— Да нет, — ответила одна, поправляя свои очки. — Такое может произойти по самым разным причинам.

— И он! — попробовал пояснить Генка. — На обратном пути пел арию. Князя Игоря. Хотя мы были только воинами. И деньги он порвал! В мелкие-мелкие кусочки!

Вот эта деталь нас добила. Так оно и есть, думал я. Войдя в оперу, человек не смог из нее выбраться.

— Ведь он бедно жил! — воскликнул Минибай.

— Ну да, — подтвердил Шидрин. — И этот четвертак был нужен ему до зарезу.

С тетеньками, смотревшими на Венину болезнь другими глазами, мы расстались, отправились на электричке в сторону родного города. По пути без конца поминали лекцию искусствоведа Помяновского про сто способов заработать деньги. Это ведь он расхаживал павлином перед рядами недоедавших студентов — если бы не тетя Дуся! — и почуял, что можно читать лекции от общества «Знание» в рабочих аудиториях по пятнадцать рублей штука и что можно работать по вечерам в этом самом театральном мимансе, когда одетые в чужие костюмы граждане ходят, кивают, улыбаются, изображая толпу, служанок, лакеев, а иногда и воинов, как в «Князе Игоре», и вот — один воин попался. Зашел и не вышел!

Я настаивал на этой мистической версии, где человек не зависит сам от себя, но Минибай, прагматик по общественной должности, и Генка, похоже, просто отпетый реалист, со мной не соглашались. И так мы поспорили до самой общаги, потом зашли в комнату, где утром сошел с ума Веня, и молча, словно на кладбище, постояли перед его железной кроватью, заправленной досрочно свежим бельем и ожидающей то ли возвращения прежнего, то ли прихода нового жильца.

Вечером наша комната долго не могла уснуть. Вовка Потников показывал всем открытки Иеронима Босха и утверждал, что на них изображено наше будущее и прошлое, увиденное сумасшедшим гением. Вообще, гениальность — это сумасшествие, утверждал он.

— Так что наш Веня — кто еще знает! — говорил Минибай.

Но мы тут же ржали, вспоминая, как Айболит принял за сумасшедшего именно его с вытаращенными глазами и в одних трусах, даже без майки. Минибай спал всегда без нее.

Но, может, это молодость так устроена? Фыркать сразу после бедствия, не сочувствовать доктору, похожему на Айболита, а смеяться над его оплошностью? Мы хохотали до позднего часа — то ли над собой, то ли над миром, дверь в который мы только еще приоткрывали.

А в результате-то еще один сподвижник выбрался на берег реки, по которой нас несло.

И тут врывается любовь! Или это только казалось, что любовь? В те поры такими словами не баловались попусту, не трепали их языком, не судили на лавочках и в трамваях, не спекулировали при народе. Любовь к родине — это пожалуйста! Любовь еще к родному городу, любимому университету и почтенному предмету, да и вообще ко всему неодушевленному — сколько угодно и в любом количестве. Но если это чувство коснулось тебя, приснилось тебе, подошло поближе и с надеждой улыбнулось — не торопись даже шепотом произносить это драгоценное слово, обойдись чем-нибудь простеньким — проводить, прогуляться, сходить в кино, посидеть на лавочке и снова, снова проводить до подъезда, чтобы потом догонять последний трамвай и вскакивать на его подножку, глядеть невидящим взглядом в темноту, глупо улыбаться неизвестно чему, а потом опрокидываться в сон как теплую, давно ждущую тебя речку...

Ухаживать? Это словечко для взрослых и бывалых. Гулять? Слишком легкомысленно. Дружить? Слишком формально.

Встречаться? Может, и не очень полноценный, но все же допустимый оборот. Ведь он полегоньку означает и то, и другое, и третье, сливаясь в бесконечный разговор, в бесцельные прогулки, в узнавание другого существа, который может, при разных обстоятельствах, стать частью твоего мира или даже твоим миром до самого конца.

Но ведь встречи могут развернуться в повторение, в усталость, наконец, в необязательность, отступление, в нежелание продолжения.

Сформулирую то, что, скорей всего, не окажется понятым. Тогда к близости шли через неловкость и стеснение преодоления, через совесть и отторжение. Боюсь, мы были последними осколками чистого ледника, где любовь требовала взаимности, долготерпения и чести. Уже сразу за нами следующие курсы крошились и таяли, упиваясь студенческой вольницей. И ломая самих себя.

Свобода близости сперва прекрасна, и сразу — обманчива. Поверхностная вседозволенность почти обязательно отойдет болью. Чаще всего — пожизненной.

Но к этому надо прийти. А чтобы прийти, следует двигаться.

Нужно ли еще заметить, что нас что-то сдерживало? И довольно крепко. И вовсе не родительская, допустим, строгость, не власть, способная не понять, а помешать.

Останавливала, я полагаю, собственная опаска, или предосторожность, включающая в себе самое труд-

ное — незнание себя. Недоверие к себе и своим решениям. Негарантированность собственных чувств.

Об этом не говорилось. Об этом думалось.

7

Мы с Минибаем двигались к тете Дусе после лекций, широкая университетская лестница сияла приподнятым осенним сиянием, наверное, солнце-то и оказалось во всем виноватым.

Итак, мы шли из тени к свету, спускались с верхнего этажа вниз, и на площадке между лестницами, точнее, на первой ступеньке, идущей с площадки, вдруг возникли две девушки. Они были в приподнято легких летних платьях отчего-то, и солнце их предательски, а может, с любовью, осветило со спины, и все их тайное высветило, как рентген, представ перед нашими бесстыдными взорами, явив при этом образцовую стройность и юность. Мы, конечно, не споткнулись, не остановились, но вонзились взорами в эти идеальные силуэты, потом, по мере сближения, перевели глаза на лица, и оба восхитились — интеллигентными, доброжелательными, просветленными ликами двух никогда прежде не виданных существ: одна была блондинкой, как принято в классической литературе, другая — брюнеткой.

В те времена не было принято раскланиваться с незнакомыми людьми — да и сейчас такое доброжелательство выдает лишь человеческую нездешность, — так что мы целомудренно разошлись тогда на лестнице. Девушки улыбались нам, а мы, разумеется, им, и что касается нас — разглядывали эту красоту во все шары, но молча! Нет чтоб поздороваться! Поклониться! Спросить не самое уж глупое — откуда, мол, вы возникли, — не из волшебной ли лампы Аладдина — да и куда движетесь в здании, где мы обретаемся аж четвертый год?

Но, робко от улыбававшись, мы миновали друг друга и только в столовке, пробив чеки и поставив перед собой привычную еду, взаимно удивились:

— Вот это да!

Распрашивать, кто это и откуда, было не у кого — свидетелей случайного пересечения улыбок не существовало, и мы были вынуждены просто законсервировать свои впечатления до будущего.

Как оказалось, скорого.

Наехал какой-то праздник, в спортзал нашего здания танцевать не пускали, поэтому площадкой стал конец широченного коридора, на подоконнике которого установили драгоценный проигрыватель, и ответственный, чаще всего ответственная, просто менял пластинки, обеспечивая определенный ритм начинающих и продолжающихся знакомств и обольщений.

Там мы снова увидели этих блистательниц, только вот всерьез занятых другими. Блондинку старался прижать к себе длинный баскетболист по фамилии Вайншток, естественно, черногривый и непонятно отчего прославленный, но она, как я заметил, упиралась, сопротивляясь. Брюнетку же водил коротко стриженный волейболист неизвестного мне имени, и невооруженным глазом было понятно, что и он клонит партнершу к наглому физическому приближению. Парни относились к разряду пятикурсников, почти взрослых мужиков, и наш интерес горестно опал. Да еще я спустился в туалет на другом этаже, и у такого же подоконника, как наверху, где шли танцы, увидел длинного Вайнштока, склонившегося над блондинкой в позе коршуна: спиной он отгораживал коридор и опущенной головой с крючковатым носом будто поклевывал свою жертву, а та, что любопытно, не вырывалась, не стремилась сбежать, а что-то быстро говорила и по сторонам, а значит, на меня, не глядела. Я прошел по своим делам, а когда почти тут же возвратился, ни коршуна с его клювом, ни жертвы не было.

Что-то во мне опустилось. Или, напротив, поднялось. Какая-то обида, чувство поражения, непоправимая досада. Я поднялся к танцующим, но не нашел у стенки скучающего Минибая. Чертыхнулся было, мол, куда его нелегкая носит. И тут же обомлел: мой друг танцевал сладострастное танго с другой, со второй, улыбаясь до ушей, а когда повернул партнершу ко мне спиной, одним глазом ехидно подмигнул мне. Впрочем, может, там и не предполагалось никакого ехидства, а одно лишь дружественное успокоение?

Все развивалось стремительно, как вспышка молнии, может быть.

Минибай еще отводил свою пассиву к противоположной стенке после танго, как объявили белый вальс, и что касалось друга, тут сомнения не возникало, что напарница его же немедленно и пригласит, ясное дело. Но вот возле моего уха, откуда-то сбоку, вдруг раздались осторожное и ласковое:

— Разрешите!

Как она подобралась ко мне, тонущего в волнах противоречий, я не понял. Но передо мной стояла девушка моей мечты, та самая, которую, как мне казалось, уже невозможно было вырвать из когтей коршуна с опасным клювом.

Она стояла передо мной, улыбалась мне, приглашала меня потанцевать, а я глупо глядел на нее, не веря в правдоподобие происходящего. Потом протянул к ней руки. Но первая фраза, которую я выдохнул, почти тут же, и не раздумывая, была к месту, ко времени и ко всему другому.

— Кто вы? — пробормотал я. А может, тихо пропел. Или, вот именно: почти неслышно выдохнул.

— Меня зовут Варя, — ответила она легким и ясным голосом. — Учусь на химфаке, а общежитие у нас здесь. Наверху.

Представился и я, удивившись, что только недавно впервые увидел ее с подругой.

— Ничего удивительного, я с химфака, а он ведь в другом корпусе.

И она добродушно рассказала, что добираться туда приходится с пересадкой, уезжать надо рано. А после занятий весь день в лабораториях. Словом, сюда приезжают только ночевать. Так что тут, на последнем этаже в огромных аудиториях, — женское общежитие. В основном для химичек.

С ней было легко говорить, выдумывать темы для разговоров не требовалось, а я не отводил от нее глаз. Все вокруг как-то затушеввалось, расплылось, только изредка я отыскивал в толпе Минибая с его напарницей. Наконец, мы остановились вчетвером, пошли, разговаривая, к другому концу коридора, куда музыка доносилась приглушенно.

Я узнал, что вторую зовут Валя, и сразу сказал, будто вижу некое слияние, потаенную рифму в двух именах — Ва-ря и Ва-ля! Они еще удивились такому выражению, дескать, мы — молодцы, начитанные люди, а им и книги-то в руки взять некогда, кроме учебников, — одни формулы.

Зато среди формул они плавали как рыбы в теплом море. И вообще мир их знаний сильно отличался от наших своей, правда, лишь им понятной, конкретностью. А наш, выходит, своей неконкретностью, часто и самим непонятной. Тут мы расходились своими тропками и, как потом станет очевидным, довольно всерьез. Их ценности были незыблемы, доказаны и очевидны. Наши — расплывчаты и изменяемы.

8

В тот вечер, возвращаясь в общагу, мы были влюблены и неоглядчивы. Нас даже не смутило, что Варя и Валя пятикурсницы, старше нас, и пройдет несколько месяцев, как они уедут на работу, исчезнут из нашего мира. А мы в сравнении с ними еще не дозрели. Особенно если принять во внимание, что девушки созревают раньше парней.

Наше знакомство со старшекурсницами, да еще и с другого факультета что ни на есть естественных наук, не осталось незамеченным. Кроме возгласов одобрения в нашей родной комнате и демонстрации открыток о любви, представленной Вовкой Потниковым, отыгрывалась именно эта идея — девушки-то наши с факультета естественных дисциплин, а мы — с самых что ни на есть неестественных. Ну, что естественного может



быть на кафедре партийно-советской печати? А ведь, получалось, это главная наша наука. О том, что такое передовая статья? Корреспонденция? Очерк? Информация: что — где — когда? Да разве же это наука?

Ладно, ладно... У всякого времени свои порядки, может, это и есть самая естественная из дисциплин, о которую хорошо бы не споткнуться!

Еще до зимней сессии мы с Минибаем решили сверкнуть нашим неестественным опытом и пригласили наших девушек в «Савой». Они специально пораньше сбегали со своего химфака, но когда мы приблизились к месту предстоящей радости, оказалось, что не только «Савой», но и вся площадь перед ним окружена солдатами. Они говорили, чтобы проходили поскорее, а «Савой» сегодня закрыт на спецобслуживание. Перед подъездом блистал невиданный доселе черный ЗИС, и кто-то из взрослых прохожих нам разъяснил:

— Это маршал Жуков принимает каких-то иностранцев.

Мы переместились в ресторан по имени «Урал», считавшийся познаменитее «Савоя», но неуютнее, и хотя меню совпадало — салат оливье — солянка — бифштекс с яйцом, ну и бутылочка шампанского, плейбоев из нас не вышло. Сухо и громковато стучало подобие джаза из кинотеатра «Совкино», официанты

небрежны, принимая во внимание наш возраст, да и вообще... Так что разговор зашел о маршале Жукове, которого Сталин сослал командовать военным округом в Одессу, а Хрущев, которому Жуков помог арестовать Берия, отправил его сюда, командовать Уральским военным округом. Что это была за наука? Естественная или неестественная?

Мы уже не стеснялись, хоть и негромко, но подхихкивать над происходящим наверху. Не в небесах, конечно, а где-то на среднем этаже, еще на земле. Там всю гудела какая-то земная канцелярия. И не молнии, а тягучие сплетни, вроде склизких отходов правды, сползали к нам сюда, за тысячи верст от столицы. Не напечатанные естественным образом на бумаге, а проговоренные именно что вскользь, мимоходом, где-то и кем-то, похожие и на правду, и на ложь одновременно, но зачем-то усердно пускаемой в оборот. В общем, для нас, тогдашних, мало что значащей, но, оказалось, значащей для всех.

Кажется, я поведал нашим подругам всем известное: что ведь Сталин дал Жукову четыре звезды Героя, два ордена Победы, доверял как себе, поставил на самые тяжелые направления, вплоть до взятия Берлина и подписание капитуляции Германии, а он возьми да и притащи два эшелона трофейного барахла! За что и от-

правлен в Одессу. Было ли справедливым такое наказание? Мы с Минибаем считали, что пожалуй, а Варя и Валя предлагали раздать имущество по музеям и дет-домам. Но теперь-то Сталина оплевали. И Хрущ снова ссылает Жукова! Два раза за барахло не накажут. Значит, за что? Бойтся?

Мы горячились, но в меру, от бутылки шампанского далеко не забредешь, так что снова и снова выходили на паркетную площадку перед неумелым оркестром, возвращаясь в нашу естественную и сюсюгодожную жизнь, где было молодо и наивно и ничто пока не угрожало счастливому замку из льда. Который уже строился на главной площади города.

9

Забавно, но гуляние со старшекурсницами повышало нашу цену в глазах ровесников. Не только девчонки, но даже самые близкие корешки по общаге глядели на нас с каким-то сдержанным почтением. Из девического стана, который мы, впрочем, рассматривали с неким небрежением, не раздавалось ни словечка. Только настороженные, даже встревоженные взгляды. Будто чуяли — мы вроде куда-то уходим, собрались на поступки серьезные, и к нам лучше не соваться со своей мелочью. Братва глядела на нас как глядят на альпинистов, взбирающихся на неприступную скалу. Если альпинистов можно вообще разглядеть на таком расстоянии.

Но — мы? О чем думали мы?

Да ни о чем. Сначала выходили все вчетвером из здания, где мы учились, а подружки ночевали, шли пару кварталов, будто просто хорошо знакомые люди, мало ли что. Но потом расходились в разные стороны, чтобы ходить, говорить. И целоваться!

На городину снова пала зима, как всегда по-уральски беспощадная, и нам бы где-нибудь в киношке сидеть, а мы с Варей неторопливо ступали, обутые в не очень-то надежную обувь, забредали в полутемные скверы или нехоженые проулки и целовались!

Бог ты мой, какое это было молодое наслаждение — целоваться в мороз за тридцать градусов, когда губы размораживаются не сразу, а постепенно, после трех-четырех долгих прикосновений, а потом становятся мягче, и дыхания сливаются в одно, так что между лицами двух влюбленных образуется светлое облако общего дыхания.

Какой ясный мир сиял над нами, еще не знающими страсть развратных поцелуев, когда языком залезают в другой рот, кусают до крови губы, валяются в снег и рвут одежды. Впрочем, даже вообразить такое в голову не приходило. Упасть в сугроб! Завалить! И что? Это и есть любовь?

Замерзнув, ходили в кино, чтобы отогреться, не пропускали почти ничего из немецких трофеев, где были отчего-то и американские волшебные феерии — все благородной, не скотской, как позже, пробы, но зрителям целоваться в кино не дозволялось приличиями, и мы с Варей сидели, взяв друг друга за руки и с возвышенной нежностью сжимали пальцы.

С Минибаем мы пересекались часто за полночь, когда комната уже дрыхла, мирно похрапывала, и приходилось двигаться на цыпочках. Потом шли в титанную, чтобы налить в кружки кипятка, бросив туда по щепотке чая.

— Ну что? — спрашивали друг друга то я, то он.

— Ничего!

— Умная, — говорил Минибай про свою. — О химии знает все!

Потом он изучал статью про Менделеева в энциклопедии, великого человека, который, кроме своей великой таблицы элементов, оказывается, определил еще, что у водки должно быть сорок градусов — не больше и не меньше! Такая забавная новость, пришедшая к нему от Вали, мысленно взбадривала наши ночные чаепития.

Варя была улыбчива и ровна. Она, конечно, могла воскликнуть что-то или расплакаться в кино, тут же, впрочем, улыбаясь. А я терялся. Мне все казалось, что она недоговаривает. И смотрит на меня будто со стороны, и какой-то таинственной мерой измеряет меня: каков я, на что способен, на что — нет.

Мы провожали своих пассий в корпус, где днем учились сами. Частенько там дежурила наша любимая и беззубая старуха Изергиль, вахтерша с медалью партизана Отечественной войны на телогрейке. В двенадцать она накидывала на дверь длиннющий крюк, и тогда приходилось долго и упорно стучать, пока она добредет от своего столика с настольной пластмассовой и скрюченной, как сама вахтерша, лампой до двери.

Затем мы входили. Целоваться при вахтерше уже считалось дурным тоном, и я смотрел, как Варя поднимается по лестнице, оборачиваясь через каждую пару ступенек и поднимая руку в прощании.

Потом я стоял некоторое время возле вахтерши. Она всегда улыбалась. Внимательно вглядывалась в меня. Однажды сказала мне:

— Ох, берегись, паренек!

В другой раз ласково спросила:

— А по Сеньке шапка-то?

Я не знал этого. Да и знать не мог.

— Вы стучите, стучите, я открою, — говорила старуха с партизанской медалью. — И хватала меня за рукав. — Люблю, когда молодые провожают! Гуляют! Сама такая была!

Она вела меня к своему суровому крочку и в эти недлинные мгновения много чего умела вставить.

— Ты слышал? — спрашивала она. — У Дуси-то же-них на войне погиб?

— У какой Дуси? — удивлялся я.

— Да у кассирши из столовой!

Господи, мы это давно знали. Старуха Изергиль пу-тала времена жизни, и все, что было когда-то, а часто и с ней самой, казалось ей случившимся только что. По-том всезнающие психологи, которые тоже отчего-то учились на историко-филологическом факультете, как-то мельком поставили диагноз старухе Изергиль: вяло-текущая потеря памяти. Я обиделся за нее, но не забы-вал этого обвинения.

И только много лет спустя исправил для себя этот диагноз на другой: вялотекущая утрата времени.

Увы, это ждет каждого из нас.

10

Бог ты мой, и все это поместилось только в один пятьдесят шестой год! И зимняя моя горячка, когда я те-рял сознание, и бунт на корабле, прошедший, к счастью, мимо меня, и закрытое письмо Хрущева, и практика в далекой дали, и подарок судьбы — две красивые и ум-ные женщины для двух друзей, как какой-то странный подарок осени...

Не всякий зрелый человек, приняв все это одно за одним в свою судьбу, встоит и не пошатнется. А нам как будто все было мало. И по любому поводу несло в неведомую даль все ускоряющимся потоком. Поток этот обретал в разные недели и даже дни разные скоро-сти. В первом семестре четвертого курса из столицы до Урала долетел снаряд и рванул во всех, наверное, голо-вах сразу. Назывался он романом по имени «Не хлебом единым» писателя Дудинцева, и журнал «Новый мир», в оболочке которого долетел до нас, рвали на части.

Единственный экземпляр, поступавший в читалку, не оставался без употребления и по ночам. Желающие вписывали свое имя в открытый список очередников на ночное чтение, прикнутив его к дверям библиоте-ки. И не приведи бог утром такому очереднику не при-нести журнал и не сдать «дневникам», которых вообще числилась тьма. Поступали предложения «Новый мир» разорвать на странички, читателям усаживаться в одной большой аудитории и, передавая листки, осваивать со-чинение сразу большой группой. Тут же и обсуждать. Но наши милые библиотекарьские старушки вместо этого насилия раздобыли где-то еще один экземпляр, а потом и еще, поэтому чтение шло в рваном, но все-та-ки энергичном ритме. Сопровождаась множеством рассуждений — опытных и наивных, устных и печатных,

патому как газеты, даже уральские, наперегонки ста-ратель выразить свои разнообразные рассуждения.

Роман посвящаяся изобретателю, который приду-мал машину, делающую трубы, а ему не дают ходу люди, тоже чего-то изобретающие, но еще и имеющие власть. Они, коли при власти, конечно, подлецы, усажи-вают героя в тюрьгу, да вот неувязка — в несчастного бедолагу влюбляется норовистая женушка властного персонажа, которая помогает невинному гению. А по-том перебегает от нечестного мужа к страдальцу-ге-нию, да еще и машина симпатичного неудачника проби-вает все препоны. Победа одержана. Любовь и талант воссоединились. Но заноза остается — кинутый муж поднимается по министерской лестнице. Мол, погоди-те, еще не все кончено...

События, да и сама среда, которую разбирал писа-тель, была не рядом с нами. Но персонажи, совершен-но не похожие на нас, странным образом заставляли насторожиться, требовали и сейчас-то, хотя мы студен-ты, оглядываться вокруг, присматриваться ко всему, не верить на слово. И думать, без конца думать, хотя ду-мать-то нас по-настоящему еще никто не научил. Да и учат ли этому?

Надо уточнить: мы не были бездумными — но, так сказать, в быту, в студенческих передерягах. А требо-валось, оказывается, еще какое-то особенное умение постигать жизнь. Очень высокое, совершенно неяс-ное. А потом и вычерчивать свои поступки по чертежам таких дум. Да еще и не всегда твоих, а чьих-то... Увы, такого никто не знал и не умел.

Так что роман «Не хлебом единым» глотали, вды-хали полной грудью его, несомненно, свежий воздух. Действительно, он против многого настораживал. Толь-ко против чего именно, сформулировать мы могли в ту пору лишь общими, да и расплывчатыми фразами.

Снова мы сходились в одной, обыкновенной, но чем-то полюбившейся аудитории — может, там было потеплее? Яшка-матрос, бывший поэт и вечный ста-рослужащий Игорь Коробкин, искусствознавец Вовка Потников, всегда уравновешенный Генка Шидрин, ка-кие-то девчонки, даже рьяный филолог Боба Виннер заглядывал к нам по старой памяти. Не было только Джурки Скока.

Нет, вообще-то он заглядывал со своей женушкой Аленой Грачевой, теперь, конечно, принявшей его фа-милию, но едва заходила речь о романе из «Нового мира», она, вежливо улыбаясь, поднималась, и Джурка послушно следовал за ней. Что и обсуждалось не менее романа.

— Он все еще боится? — спрашивал Шидрин.

— Бояться надо всегда, — поучал Коробкин, и эту философию поддерживал Яков, наш бывалый тихо-

океанец. Он нас как-то умело ссаживал с небес на свои стулья.

— А вы хоть чуеете, про что это? Легче всего сказать: «Да, я все постиг и понимаю!» Но вот я не понимаю. Чую, что во власть метят. Система, мол, не та. А какая та? Но чего они хотят? Все порушить? — толковал Яков.

Я пытался спросить без всякой подковыри:

— Яша, а кто — они?

Он опускал плечи, отвечал:

— Не знаю.

— Да и я, — улыбался Коробкин, — просто солдат.

Чего понимаю? Но какая-то каша варится, это факт!

Дело дошло до того, что мы с Минибаем, позрознь, конечно, а не дружным коллективом, обсуждали со своими прелестницами сенсационное сочинение. Между прочим, он оказался им ближе, потому что романские дела и споры творятся и в научном институте.

Варя рассказала, что подобный институт они посещают раз-другой каждую неделю. Их дело — тихо научиться химическим премудростям, но только сотрудники садятся хотя бы перекусить, начинаются свары, споры идут про институтские дела, а не про науку. И — кто? Молодые мужики и парни кричат громче всех и все чего-то требуют, а фронтовики, доктора наук, те, что постарше, только кряхтят да междометиями отделяются. Ругнулись бы, но неудобно — вокруг много женщин.

— А как будешь ты? — спросил я тогда. — Вы же с Валей отличницы, в какой институт пошлют?

— Нас пошлют в деревню, — улыбнулась деликатно она, — учительницами химии, их не хватает. А если выдержим обязательные три года, то кто-то должен вытащить нас. Но кому нужны будут постаревшие сельские учительницы?

В голосе ее я услышал тоску, но думать поглубже — еще не очень получалось, особенно о препятствиях, считавшихся непреодолимыми.

Нет, нам явно не хватало пороха, и более или менее серьезный обмен любезностями произошел под управлением Бориса Самуиловича, нашего бывшего заведующего кафедрой печати, участника войны, с орденом на груди.

Он однажды случайно заглянул в нашу аудиторию, его заметили, поднялся гвалт, и он смущенно вошел, остановился у порога. Всегда подтянутый, стройный, в отутуженном костюме и при галстукке, он был предметом поклонения не только девчонок — все мы смотрели на него как на достойный, не болтливый, сдержанный образец мужчины высокой пробы.

— Готовитесь? — спросил он почти растерянно, что не было на него похоже. — К зачету? К семинару?

— Да вот обсуждали Дудинцева, — решительно проговорил тогда Минибай. — Пытаемся понять.

— Понять, — проговорил наш учитель, — и отошел от двери, сел на стул, откинулся на его неудобную спинку. — Да и я вот тоже, — сказал неожиданно, — пытаюсь понять...

Потом заговорил, задумываясь, спотыкаясь, но всегда уверенно, и именно это влекло нас к нему.

— Я далек от науки, от техники, — говорил он. — А у конструкторов, к примеру, все по-другому. Там оперируют не убеждениями, а фактами. Некоторые из фактов противоречат убеждениям. И получается, что спор должны решать факты. А убеждения, по этой причине, должны меняться. Но часто такие перемены неудобны! Их можно назначить вредными. То есть отвергнуть знание, отправить его в ложную сторону. Истина, таким образом, останется на прежней, исходной, точке или пойдет по неверной дороге.

— Ну да, — встрял умный Боба Виннер, — это суть романа. А как жить нам?

Борис Самуилович улыбнулся:

— Вот и я думаю, как жить. Но ведь никакой роман, даже самый революционный, не может быть рецептом.

Стало ли нам что-нибудь яснее, сомневаюсь, но спустя недолгое время, я, грешным делом, подумал, что заглянул к нам Борис Самуилович неспроста.

Дудинцев взбаламутил, конечно, общество и наших наставников заставил озаботиться. Они-то все еще отвечали за неумный ребячий бунт после хрущевского письма, и взялись не за самое приятное: спешно изучать состояние наших умов, выявлять слабые места, чтобы предупредить нежелательные эксцессы. Может, и Борис Самуилович исполнял нам неведомое изыскание. Но он же был все-таки офицер, прошел войну, и в тяготу ему оказывались этикие собеседования.

Впрочем, я мог ошибаться совершеннейшим образом. Скорей всего, начисто ошибался, потому как через неделю стало известно, что наш серьезный Борис Самуилович вновь назначен командовать кафедрой партийно-советской печати.

А может, кто-то еще, кроме нас, например в ректорате, прочитал «Не хлебом единым»? Название-то, кажется, из Библии?

А может, ректорат преувеличивал политическую возбудимость маловато еще образованных студентшек? К тому же ему помогла наставшая весна, сессия, маячившая впереди, а у нас еще и военные сборы, которые предполагались в начале лета. К тому же распределялись пятикурсники, стояла горячая пора, хоть и незаметная неозабоченному взору.

А скоро у пятикурсников совершилось распределение, которое, пока по касательной, коснулось и нас. Мы с Минибаем даже заявили к химфаку, условившись с Варей и Валею, что они сразу выйдут к нам, а мы подождем в скверике рядом. И вот, проерзав все штаны, мы увидели их, медленно шагающих в нашу сторону. С двумя мужчинами. Один, довольно пожилой, был неизвестен вовсе, а вторым оказался Серафим Юрьевич, секретарь райкома, — почему он-то?

Девушки держались неуверенно, Варю даже, кажется, шатнуло, и пожилой схватил ее под руку, которую она тут же вежливо, но решительно отвела. Конечно, Варя и Валя видели нас, но почему-то отворачивались, беседуя со своими сопровождающими. Однако разговор этот, даже на расстоянии заметен, как-то не клеился, был если и не нервным, то неровным.

Мы все-таки встали с садовой лавки, и настал миг, когда не замечать нас стало бессмысленно. Все четверо повернулись к нам, девушки взбодрились и заулыбались, а Серафим Юрьевич сам сделал навстречу нам пару шагов, обернулся на наших подруг, что-то смекнул и весело сказал, обращаясь ко всем сразу:

— Ну, понятно! Теперь удаляюсь спокойно!

Повернулся к красавицам:

— Они вели себя отменно! Едут туда, куда распределили! Без всяких слез! Поздравляю!

И удалился по аллее, бодро вскинув русую голову. Но зато второй не уходил, и Варя посмотрела на него:

— Ну вот, профессор, познакомьтесь, — и представила меня.

Тот пожал мне руку, потоптался, холодно всем кивнул и развернулся.

— Итак! — сказала Валя, улыбаясь какой-то вымученной улыбкой. — Нас распределили в сельские школы по призыву комсомола. Меня в Челябинскую область, Варю в Пермскую. Но у Вари есть вариант! — И надрывно, неестественно, рассмеялась.

Варя хлопнула ее по плечу.

— Какой вариант? — спросил я. — Остаться здесь?

— Ну да, — ответила Варя, — остаться здесь, если приму предложение профессора Никольского.

— Остаться на кафедре? — обрадовался я. И тут был опрокинут.

— Выйти за него замуж!

Я встряхнулся, приходя после нокдауна. Минибай даже обнял меня за спину, чтобы я, видать, навзничь не опрокинулся. Даже вопрос задал вместо меня.

— И что решила?

— Конечно, в деревню! Ведь нас призвал комсомол!

Воскликнула все это Варя не просто бодро, а весело, освобожденно, а слезы лились у нее из глаз в три ручья. Но она продолжала смеяться: потом кинулась к Вале, уткнулась в нее, и что-то они друг другу будто бы передали, какую-то, может, решимость, или, напротив, слабость, но уже через минуту стояли перед нами, своими юными хахалями, как ни в чем не бывало.

— Ну, пойдете, мальчики!

И мы прошли по скверу все вчетвером сколько-то там метров, потом, по обычаю, разошлись парами в разные стороны, и Варя, взяв меня под руку, принялась успокаивать, чтобы я не подумал ничего дурного.

Этот профессор окучивает ее, оказывается, с первого курса, знает, что у Вари есть какой-то ухажер с журналистики, этакий, по его мнению, щегол, а он — надежная опора, горячо влюбленная в Варвару. К тому же он недавно защитил докторскую и шел вперед на всех научных и карьерных парусах. И все бы хорошо, да только он не нравился Вале. Целых пять лет она посмеивалась над его глупыми ухаживаниями, а сейчас — очень хорошо, что он увидел меня, по мнению Вари. Может, отстанет. А она поедет в деревню, что тут страшного!

Я должен был верить каждому ее слову, но с каждым словом тягота наваливалась на плечи. Выходило, я становился мотивом, какой-то причиной ее судьбы? И при чем тут секретарь райкома, к которому я относился с почтением? Что это за фигура, вдруг выгнувшая из-за кулис?

Обсуждать такие тонкости мне казалось неловким. Что я-то могу ей обещать? Речь у Вари о серьезном выборе, а кто такой я? Студентик бесштаный? Да я даже подола ее платья ни разу не приподнял!

Невидимая тревога подошла вдруг к нам и следовала за спиной. Вдруг появилось что-то, неловкое для обсуждения. Будто отмахиваясь от неясностей, мы проходили до темноты и долго-долго целовались в каком-то тупике — спасибо людям, собакам и кошкам, что ни разу не потревожили нас. Словно уговаривая, утешая меня, Варя повторяла, что любит только меня, любит бесконечно, и что все будет хорошо, но ведь мне надо еще закончить университет!

Когда мы пришли в ее общежитие уже ночью, опять вахтерила старуха Изергиль. Она сразу определила, что мы чем-то расстроены, сообщила: Валя уже вернулась, погладила Варю по руке:

— Ничего, девочка, держись!

То ли она знала ей одной ведомое, то ли по-своему, по-изергильски, предчувствовала, но в мою сторону едва глянула, окатив чем-то вроде презрения. Но разве я заслужил такой взгляд?

Еще перед дверью, которую с той стороны держал длиннющий крючок старуха Изергиль, Варя сказала, что они с Валею уезжают через три дня. А в честь отъезда устраивают вечеринку для нас, четверых.

— Где? — спросил я, подумав, что вчетвером все-таки удобно расположиться в «Савое».

Но Варя объявила нечто невероятное: большинство девочек из их комнаты, где тридцать коек, разъезжаются раньше, а те, кто еще в городе, уже согласились провести вечер в других местах. А поезд, в котором Варя и Валя поедут сначала к себе домой, идет в одиннадцать тридцать вечера. Почти ночью.

Да и денег на ресторан нет.

12

Даже в тот вечер мы оказались олухами.

В нынешние времена люди, особенные молодые, посмеются над нами. Но в ту пору, когда мы были молодыми, они бы не удивились произошедшему, а приняли как должное, как, может быть, благозвучие, о котором не принято исповедоваться. Особенно тогда.

Мы с Минибаем впервые вошли в эту огромную комнату, уставленную железными кроватями. Застланы они были по-разному — одни по-женски, с множеством подушечек, и это вызывало удивление — в общаге-то! — другие в общепринятом студенческом стиле — чистенько и скромно. На многих матрацы оказались свернуты в рулоны. Кроватей — многие стояли впритык — было множество, и первой темой нашей прощальной встречи стало удивление — как враз могут спать три десятка женских душ? Это не пятеро, не семеро, сразу тридцать!

Стол был накрыт чистой скатерочкой, которой служила, как позже выяснилось, простыня с Вариной кровати, свежая, естественно, а на блюдечках лежала снедь, довольно щедрая и разнообразная для такого странного застолья.

Валя закрыла дверь на ключ, и мы расселись парами по обе стороны стола: Минибай со своей пассией и я.

Вино оказалось красным и сладким, выбранное явно неискушенными женщинами и для них же предназначенное, в полном противоречии с закусками — селедкой, салом, колбасой и прочими подводочными яствами.

Мы перестали стесняться друг друга — две влюбленные пары, а просто целовались, не очень-то еще и умея говорить выпрениие, да и прощальные речи.

В той громадной общежитской аудитории, уставленной кроватями девушек, неведомых нам с Минибаем, да и после сладенького винца все казалось радужным, обещающим надежду и ясное будущее, которое обязательно состоится! Это мы знали наверняка, не зная решительно ничего про то, как это произойдет!

Но думают ли о чем-то будущем люди, когда с ними уже что-то происходит? Мы сидели и час, и два, стало смеркаться, а потом стемнело. Ничего не объясняя друг другу, мы разошлись в разные стороны огромного помещения и уселись на койках. Варя потушила свет.

Мы сели на кровати, поцелуи освоены нами до совершенства и я, учитывая тепло и темноту, стал впервые расстегивать ее кофточку. А она не противилась.

Мы легли, я расстегнул лифчик и целовал теперь Варю уже не в губы, а гораздо ниже. То и дело она брала мою голову и целовала мои глаза, нос, даже уши. Я опустил руку вниз, поднял платье, приспустил то, что там оставалось. Она прошептала:

— Подожди!

Я принялся вновь за свои школярские ласки, и всякий раз, когда добирался до заветного, она опять шептала:

— Подожди!

Это звучало неубедительно, нетвердо, и я проявил настойчивость, одолев последнюю препону. Я гладил нежную, шелковистую кожу самых заповедных территорий, и мы были уже готовы ко всему, как вдруг вспыхнул свет. Валя, не глядя на нас, сказала противным твердым голосом, сама-то застегивая свою кофточку:

— Уже пора! Иначе опоздаем на поезд!

Минибай приближался к нам с вытаращенными глазами, как тогда! Не зря его принял за сумасшедшего доктор Айболит с длинными усами. Я вскочил, за моей спиной Варя приводила себя в порядок.

— Ну вот и все, мальчики! — тихо улыбнулась броне-тка Валя и щелкнула ключом в двери.

Переступая порог, я обернулся на эту комнату, уставленную кроватями, на неказистую люстру, сияющую под потолком, на стол посредине, где осталась несъеденная еда. Свет погас, дверь закрылась, мы спустились вниз, где старуха Изергиль приняла ключ, а мы с Минибаем взяли в руки два чемодана, к которым были неловко приторочены подушки наших подруг. Что делать — они уезжали навсегда.

Старуха Изергиль, нарушив свой обычай, не сказала ничего. Махнула рукой. Неизвестно кому — им или нам?

Прощаясь или прощая.

Продолжение следует.

